

В. Г. Белинский

Опыт истории русской литературы



Виссарион Григорьевич Белинский

Опыт истории русской литературы

Небольшая книжка, послужившая поводом для статьи, заключала лишь общее введение к курсу истории русской литературы, который А. В. Никитенко читал в Петербургском университете. То соглашаясь, то споря с общими положениями, выдвинутыми Никитенко в этом введении, Белинский изложил систематически свои взгляды на задачи изучения литературы. Центральное место заняло в статье определение объема самого понятия «литература», выяснение отношений между искусством (поэзией) и наукой, значения для развития литературы, науки и общества так называемой «беллетристики» и прессы.

Содержание

#1	0005
Примечания	0083

**Виссарион Григорьевич
Белинский
Опыт истории русской
литературы**

Сочинение экстраординарного профессора императорского Санкт-Петербургского университета, доктора философии А. Никитенко. Книга первая. Введение. Санкт-Петербург. 1845,

Давно чувствуется всеми настоятельная потребность в истории русской литературы. Впрочем, в последнее время обнаружались некоторые признаки, по которым можно судить, что уже предпринята не одна попытка к удовлетворению этой потребности. Еще в 1839 году г. Максимович издал первую часть своей «Истории древней русской словесности»; когда выйдет вторая часть, и выйдет ли она когда-нибудь, — нам не известно, и потому эта попытка доселе остается попыткою, не перешедшею в дело{1}. Вышедшая теперь в свет первая часть «Опыта истории русской литературы» г. Никитенко была упреждена многочисленными чтениями г. Шевырева в «Москвитянине»{2}, касающимися до истории древней, преимущественно теологической, русской словесности и предвещающими появление полной истории всей русской литературы. К этому мы можем присовокупить, что готовится и еще сочинение по тому же предмету, под именем «Критической истории русской литературы» (преимущественно новой, с обзорением, в виде введения, произведений народной поэзии); впрочем, мы ничего не мо-

жем сказать положительного о времени выхода этого сочинения{3}. Во всяком случае, нельзя не желать, чтоб все эти сочинения вышли как можно скорее, вполне оконченные: каковы бы ни были их направления и степень достоинства, — они не могут не способствовать довольно сильно движению общественного сознания в столь важном предмете, как отечественная литература. И чем различнее и противоположнее в своих взглядах и направлениях будут все эти сочинения, тем больше принесут они пользы.

Есть три способа знакомиться с литературою и изучать ее. Первый — чисто критический, который состоит в критическом разборе каждого замечательного писателя; второй — чисто исторический, который состоит в обозрении хода и развития всей литературы: здесь обращается больше внимания на эпохи и на школы литературы, чем на отдельные действующие лица. Третий способ состоит в соединении, по возможности, обоих первых. Этот способ самый лучший. Во всяком случае, влияние и важность критики не подвергаются никакому сомнению. Первым критиком и,

следовательно, основателем критики в русской литературе был Карамзин{4}. Самая замечательная его критическая статья была «О Богдановиче и его сочинениях»; к числу критических же его статей должно отнести и статью «Пантеон российских авторов», в которой он сообщает краткие известия, не чуждаясь местами критического взгляда, о старинных писателях – Несторе, Никоне, Матвееве (Артемоне Сергеевиче), царевне Софии, Симеоне Полоцком, Дмитрие Туптале, Феофане Прокоповиче, князе Хилкове, князе Кантемире, Татищеве, Климовском, Буслаеве, Третьяковском, Сильвестре Кулябке, Крашенинникове, Баркове, Гедеоне, Димитрии Сеченове, Ломоносове, Сумарокове, Федоре Эмине, Майкове, Поповском, Попове. Не говорим о множестве мелких рецензий Карамзина в его «Московском журнале» и «Вестнике Европы» – рецензий, которыми он так много способствовал очищению и утверждению вкуса публики{5}. – Кроме Карамзина как критик заслуживает почетного упоминования современник его, Макаров, из критических статей которого особенно замечательны: «Сочинения и пере-

воды Ивана Дмитриева» и «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка». Они были напечатаны в его журнале «Московский Меркурий», который он издавал в 1803 году{6}. – Через несколько лет Жуковский написал две критические статьи – о сатирах Кантемира и баснях Крылова{7}. – Батюшков разобрал сочинения Муравьева (М. Н.) и писал об «Освобожденном Иерусалиме» Тасса и сонетах Петрарки{8}. – Князь Вяземский должен быть упомянут как один из первых критиков эпохи русской литературы двадцатых годов: он написал «О жизни и сочинениях Озерова»{9}, «О Державине» (по случаю смерти великого поэта; статья эта напечатана в «Вестнике Европы» 1816 года, № 15) и другие критические статьи, в свое время очень замечательные. – Но критиком по ремеслу, критиком *ex officio*[1], во второе десятилетие настоящего века был Мерзляков, писавший в особенности о Сумарокове и Хераскове. В то же время Мерзляков был и теоретиком поэзии как искусства{10}. – В начале двадцатых годов критики начали размножаться, и в альманачных *обозрениях* *литера-*

туры за тот или другой год видны попытки делать очерки истории русской литературы {11}. Представителями этой критики, поверхностной, безотчетной, но беспокойной и горячей, ратовавшей за так называемый романтизм против так называемого классицизма, – критики, распространившей много поверхностных и неосновательных мыслей, но и принесшей большую пользу сближением литературы с жизнью, – представителями этой критики были Марлинский и г. Полевой. Последний около десяти лет был главным органом русской критики через свой журнал – «Московский телеграф» {12}. Потом, в 1839 году, он издал, под именем «Очерков русской литературы», свои важнейшие критические статьи в двух томах: в них он показал крайние пределы, до которых могла доходить наша так называемая романтическая критика, – равно как и собственная его критическая тенденция. В самом деле, еще до выхода этих двух томов г. Полевой уже отстал от самого себя и начал издавать такие произведения, которые еще так недавно и так жестоко преследовала его критика и в принципе и в ис-

полнении. Поэтому на его «Очерки русской литературы» можно смотреть, как на памятник, сооруженный автором своей критической славе. – Г-н Шевырев вышел на поприще критики вскоре после г. Полевого. До тридцатых годов характер и направление его критики носили отпечаток знакомства с немецкими эстетиками и вообще с немецкою литературою. В критике его заметно было присутствие чего-то похожего на принцип, и потому в ней меньше было произвольных мнений, чем в критике г. Полевого; но со стороны таланта г. Шевырев далеко уступал г. Полевому, – и потому последний имел большое влияние на современную ему литературу, а первый не имел на нее почти никакого влияния {13}. С тридцатых годов критика г. Шевырева приняла какое-то quasi[2]-итальянское направление; по крайней мере он беспрестанно, и кстати и некстати, толковал о Данте, Петрарке и Тассе, говоря о русских писателях. Это, вероятно, было следствием его пребывания в Италии {14}. В эту-то итальянскую эпоху своей критики г. Шевырев, во-первых, напечатал знаменитое свое стихотворение, на-

званное им «Чтение Данта» и начинающееся этим бессмертным стихом:

*Что в море купаться, то Данта
читать!{15}*

во-вторых, учинил два бесценные критические открытия касательно русской литературы: первое сделано им по поводу разбора «Трех повестей» Н. Павлова, и мы передаем его, это открытие, словами самого изобретателя, г. Шевырева:

Жизнь есть какое-то складное бюро, со множеством ящичков, между которыми есть один глубокий, тайный ящик с пружиной. Все повествователи шарят в этом бюро, но не всякому известна пружина закрытого ящика. В нем-то лежит тайна повести истинной, повести глубокой. Автор повестей, мною разбираемых, нашел путь к этому секрету; он открыл в нем маленький уголок; но этот ящик чрезвычайно сложен. В нем так много пружин и пружинок. Есть надежда, что и те он откроет со временем, после такого прекрасного начала; но есть святое место этого ящика, которое надо непре-

*менно заранее открыть всякому по-
вестователю, но которое наш автор
только что вскрыл слегка, коснулся
одной его поверхности. В этом ящике
лежит вещь, сильно действующая в
нашем мире, лежит половина нас са-
мих, а иногда и все мы. Это сердце
женское («Московский наблюдатель»,
1835, часть I, стр. 122){16}.*

Кто не согласится, что это открытие очень оригинально?.. Второе открытие, уже чисто литературное, еще оригинальнее. Разбирая стихотворения г. Бенедиктова, г. Шевырев, с свойственной критической проницательностью, заметил, что в русской поэзии, до появления г. Бенедиктова, не было мысли, – заметьте: не было мысли в поэзии, которой представителями были Державин, Фонвизин, Крылов, Жуковский, Батюшков, Пушкин и Грибоедов, – а, по мнению г. Шевырева, ее представителями были еще и гг. Языков, Хомяков и tutti quanti...[3]{17} Вот его собственные слова:

Это была эпоха изящного материализма в поэзии... Слух наш дрожал от ка-

кой-то роскоши раздражительных звуков... упивался ими, скользил по ним, иногда не вслушиваясь в них... Воображение наслаждалось картинками, но более чувственными... Иногда только внутреннее чувство, чувство сердечное и особенно чувство грусти неземной, веяло чем-то духовным в нашей поэзии... Но материализм торжествовал над всем... Формы убивали дух... Нежные, сладкие, упоительные звуки оплетали нас своею невидимой сетью...[4]

Итак, в этой поэзии недоставало мысли: г. Бенедиктов – первый поэт, в поэзии которого нет материальности – одна духовность, то есть проникновение мыслию, и потому г. Шеллер, в восторге от своего открытия, воскликнул:

Вот почему с особенною радостью встречаю я такого поэта, в первых прелюдиях которого доносится мне сквозь материальные звуки эта глубокая, тайная, прожитая дума, одна возможная спасительница нашей поэзии!
[5]

В этом можно на слово поверить г. Шевыреву: он сам поэт, и ему ли не знать толка в поэзии! Потому-то он мало того, что расхвалил г. Бенедиктова, но и нашел в его стихах мысль, которой не находил даже в созданиях Пушкина! В эту же итальянскую эпоху своей критики г. Шевырев пустился было на изобретение русской октавы, по примеру итальянской;{18} но предприятие так же точно не удалось, как и введение гекзаметров в русскую поэзию другим известным поэтом, критиком и профессором{19}. Может быть, октавы потому не восторжествовали, что в поэтическом достоинстве несколько не превосходили помянутые гекзаметры, хотя между теми и другими легло чуть не столетие...

В первую эпоху своей критической деятельности г. Шевырев действовал в «Московском вестнике» г. Погодина (1827–1830), во вторую – в «Московском наблюдателе» г. Андросова (1835–1837). Но он не ограничился этими двумя эпохами и теперь обретается в третьей, в которой он отступился не только от Германии, но и от Италии, равно как и от всего Запада. Эта третья эпоха – восточная, сла-

вянофильская; ее деятельность проявилась в «Москвитянине». Она ознаменовалась многими любопытными и оригинальными открытиями и изобретениями, так что перечесть их все нет никакой возможности; но лучшим из них кажется нам замечание о Лермонтове, как подражателе не только Пушкина и Жуковского, но даже и г. Бенедиктова!.. {20}

Много было и других критиков, из которых каждый чем-нибудь да прославил себя: один *душегрейкою новейшего уныния*; {21} другой – мыслию, что Пушкин не более, как легкий и приятный стихотворец, мастер на мелочи, что герои поэм его – бесенята и что изящество его произведений есть не более, как изящество хорошо сшитого модного фрака, а Ломоносовым-де не налюбоваться *в сытость* и позднешему потомству, и что Шекспир и Байрон неомовенными руками возлагали возгребия нечистые и уметы поганые на алтарь чистых дев, сиречь муз... [6] {22} Третий снискал себе бессмертную славу просто прославлением писателей своего прихода и бранью на чужих; четвертый похвалою и бранью одним и тем же лицам, смотря по обстоятель-

ствам и погоде{23}. Обо всех таких мы умалчиваем. Наша цель была поименовать только главнейших действующих на поприще критики в различные эпохи русской литературы.

Из этого краткого обзора видно, что каждая эпоха русской литературы имела свое сознание о самой себе, выразившееся в *критике*. Но ни одна эпоха не выразила этого сознания о целой литературе, в историческом изложении ее хода и развития. Были попытки, но до того ничтожные, что не стоит и упоминать о них. Впрочем, так называемый «Краткий опыт истории русской литературы» г. Греча имеет по крайней мере достоинство литературного адрес-календаря и справочной книги о времени рождения, смерти, о служебном поприще, чинах, орденах и времени появления в свет сочинений значительной части наших писателей. Как справочная книга, она очень полезна для современников и будет полезна даже для отдаленнейшего потомства, которое узнает из нее, что старинные литераторы и поэты были вместе и чиновники. Что же касается до прагматической и критической стороны этой книги, – смешно и го-

ворить о ней{24}. Многие из наших читателей изъявляли нам свое удивление, что мы решились на серьезный и дельный разбор нового издания «Учебной книги русской словесности», вместо того чтоб посмешить публику забавною рецензиею на эту поистине забавную книгу. Мы очень рады случаю объяснить на этот счет с читателями. Во-первых, мы хотели быть полезны многочисленному классу учащихся и учащихся «российской словесности», для которой на русском языке нет ни одного сколько-нибудь сносного руководства. Во-вторых, сочинителя этой *невероятной* книги мы хотели лишить всякой возможности утешить себя мыслию, что наша статья – брань без доказательств и что она внушена нам завистью и недоброжелательством к автору такого превосходного учебника... Без этих причин, которые, конечно, гораздо важнее для нас, чем для наших читателей, – мы никак не решились бы с важностью доказывать, что книга, в которой все – противоречие, никуда не годится. Поступив так, мы за один раз вырвали зло с корнем, – и жалкого учебника теперь как не бывало!..{25} Есть и

еще книга, претендующая знакомить своих читателей с историей русской литературы. Это – «Руководство к познанию литературы» г. Плаксина. Но г. Плаксин даже не означил в заглавии своей книги – какой литературы хочет он повествовать историю; зато в самой книге, рассказав кратко историю литератур еврейской, индийской, греческой, римской и объяснив дух новых литератур, классицизм и романтизм, пространнее изложил историю русской литературы. Эта книга – поверят ли? – далеко ничтожнее книги г. Греча...{26}

Впрочем, все учебники и ученые сочинения такого рода равно никуда не годятся по совершенному отсутствию в них всякого начала, которое проникало бы собою все их суждения и приговоры и давало бы им единство. Для г. Плаксина, например, и Пушкин – поэт и Херасков – тоже поэт, да еще какой!.. Есть ли тут что-нибудь похожее на взгляд, на образ мыслей, на мнение, на убеждение, на принцип? Не так мыслил и понимал в этом отношении, например, Мерзляков. Можно не соглашаться с его системой и даже считать ее ложною; но нельзя не видеть в ней ни самобытного мне-

ния, ни последовательности в доказательствах и выводах. Каково бы ни было его начало, он верен ему и ни в чем не противоречит самому себе. Признавая великим поэтом Ломоносова, находя поэтические достоинства и красоты в сочинениях Сумарокова, Хераскова и Петрова, – Мерзляков не видел (потому что не мог видеть, оставаясь верным своему началу) в Пушкине великого поэта{27}. И потому вы или вовсе отвергнете основное начало критики Мерзлякова и, следовательно, его выводы, или во всем согласитесь с ним. А у этих господ все смешано и перемешано: в их книге мирно уживаются самые разнородные, противоречащие понятия, – и то, что дважды два – четыре, и то, что дважды два – пять с половиною...

Тем важнее теперь появление всякого опыта истории русской литературы, хоть сколько-нибудь отличающегося самостоятельным взглядом на предмет и последовательностью в выводах. Но опыт г. Никитенко далеко не принадлежит к числу каких-нибудь и сколько-нибудь сносных или порядочных опытов: он обещает гораздо больше. Говорим *обеща-*

ет, потому что «Опыт» пока состоит еще только в одном введении; но это введение тем не менее дает надеяться читателю найти в истории русской литературы г. Никитенко сочинение прекрасное и по взгляду на предмет и по изложению содержания, – сочинение более чем прекрасное, сочинение дельное. Но пока оно еще не в руках публики, пока мы еще не прочли его, поговорим пока не о будущем, а о настоящем, поговорим о «Введении», тем более что, обещая хорошую историю русской литературы, оно, в то же время, и само по себе, как отдельное произведение, заслуживает большего внимания. Содержание этого «Введения» само по себе может служить предметом особенного сочинения, и потому, пока не явятся в свет остальные части труда г. Никитенко, – мы имеем право рассмотреть его «Введение», как само по себе полное и оконченное сочинение.

Вот предметы, которые рассматриваются во «Введении» к истории русской литературы: 1) идея и значение истории литературы; 2) метод изучения истории литературы; 3) источники истории литературы; 4) идея и зна-

чение истории литературы русской; 5) разделение истории русской литературы на периоды.

Этот простой перечень глав, из которых состоит «Введение», много говорит в пользу сочинения, свидетельствуя, что автор начал с начала и принялся за те вопросы, решение которых должно быть положено во главу, краеугольным камнем истории русской литературы, и что в последующих частях труда его изложение фактов будет озарено светом мысли. Мы сейчас увидим, как счастливо успел автор избежать двух крайностей, которые для писателей бывают Сциллою и Харибдою, – успел избежать одностороннего идеализма, гордо отвергающего изучение фактов, и одностороннего эмпиризма, который дорожит только мертвою буквою и, набирая факт на факт, подавляется бесполезным избытком собственных приобретений и завоеваний. Автор «Введения» начинает прямым нападением на последнюю крайность:

Постепенно и медленно переходим мы от случайного и шаткого полужнания к лучшей методе знания, предвозвеща-

ющей истину, и отсюда уже к самой истине. Сколько времени в исследовании жизни народов обращало внимание на одни внешние явления, не заботясь о том, что всему внешнему дает смысл, характер и цену. Для науки в этом духе, по-видимому, вовсе не существовали движение и направление идей народа, личные интересы его ума и сердца, – как будто бы человек мог что-нибудь значить со всеми высокомерными притязаниями своими на первенство в природе, со всем, что он предпринимает и исполняет, если бы мысль не полагала своей царственной печати на его деяния. «Мы изображаем достопамятные события, – говорили и теперь еще говорят многие, – завоевания, подвиги героев, общественные перевороты, отношения государств между собою и т. п.». Но что же истинно важного и достопримечательного в этой пестрой, волнующейся смеси лиц и событий, как не убеждения, цели, страсти, внутренние причины? а их нет на поверхности вещей. Постарайтесь же проникнуть в самую лабораторию, где движутся и работа-

ют сокровенные силы, – в душу, в нравственный быт народов. Там, в неясных и неразвитых еще влияниях и потребностях ума и сердца, в прихотливой игре фантазии, в глухих воплях рождающегося слова приготавливается невидимыми процессами многое, что делает изображения летописей человеческих столь осязательными, звучными и животрепещущими. И что без этих глубоких источников можете вы высказать народам великого и поучительного? Что Александр Македонский одним ударом меча добил умирившую среди восточного варварства персидскую монархию, что Цезарь пал от кинжала убийц, вблизи народной трибуны, когда замышлял превратить ее в трон всемирной державы? Только ли? Да, это важное средство для изошрения памяти школьников. Но согласимся, что эти превознесенные имена со громадами дел, на коих они начертаны кровию народов, составляют великолепные монументы, достойные изумлять потомство. Назначьте им еще какую угодно политическую и нравственную цену: мы охот-

но даже поверим, что из них извлекаются спасительные уроки для назидания людей, хотя ряд беспрестанно повторяемых ошибок и вопиющих неправд давно доказал уже, как мало ими пользуются – ибо кто из тех, кому наиболее нужны уроки, не считает свой гений и свои причины исключением из дознанных правил?.. Но пусть все будет так, как хочется приверженцам этой праздничной, театральной истории, где дух человеческий остается за кулисами, а перед глазами зрителей представление, как говорится, кипит жизнью и действием, герои декламируют, блистая пурпуром и золотом, и творятся чудеса великолепных декораций. Мы, в свою очередь, позволим себе думать, что мир ничего не видал бы бессмысленнее и печальнее истории человечества, если бы рядом с созданием и разрушением царств не были начертаны на страницах ее цифры Эвклида, афоризм Гиппократа, Сократова ирония, стих Гомера и много подобного, чего не даст могущество меча на земле, ни самое могущество золота (стр. 2–4).

В мысли, в идее видит автор таинственную психею народной жизни, которая составляет содержание истории, а преимущественное откровение этой мысли, этой идеи видит он в слове. «Человек, – говорит он, – есть орган мысли: это верховнейшее из его преимуществ, долг его, злополучие и благо» (стр. 6). По нашему мнению, думать так, значит – думать справедливо об истории.

Несмотря, однако ж (говорит автор), ни на очевидность успехов мыслительной деятельности, ни на требования века, многие писатели не совсем еще чуждаются прежней методы и воззрений истории. Направление, характер мысли народной, выраженные в слове, судьба науки и литературы у них все еще составляет одно какое-то дополнение к жизни внешней. Они, кажется, и до сих пор не довольно вникли в тесную, органическую связь глубоких внутренних явлений этого рода со внешними; их не следует разлучать там, где дело идет о полноте знания. Такое положение науки делает необходимым специализирование главнейших элементов истории, и мы принуждены

из истории литературы составлять особую науку, тогда как настоящее ее место в общей великой науке, обнимающей жизнь и судьбу народа в целостности и нераздельно (стр. 9–10).

Вот истинный взгляд на историю литературы! История народа есть история развития мысли, выраженной и непосредственной и сознательной стороною жизни народа, а мысль народа преимущественно выражается в его литературе, потому что обнаруживается в ней прямее и сознательнее. Правда, литература не есть исключительное и полное выражение умственной жизни народа, которая еще высказывается и в искусстве в обширном значении этого слова. Громадные храмы Индии, высеченные из скал, построенные из гор, стоят «Махабгараты» или «Рамайяны»; изящные памятники древней греческой архитектуры и скульптуры составляют как бы одно с «Илиадою», «Одиссеею» и трагедиями; огромные римские здания, ознаменованные печатю гражданского и государственного величия, не менее повествований Тита Ливия и Тацита, не менее Юстинианова кодекса сви-

детельствуют о бытии народа, который был державным владыкою мира, властелином царей и народов и который даже по смерти своей внес преобладающий элемент своей жизни в жизнь новейших народов Европы, ознакомив их с лучшими идеями о праве. В готических соборах, картинах и музыке мастеров средних веков жизнь этой по преимуществу религиозно-христианско-католической эпохи отразилась едва ли еще не полнее и роскошнее, нежели в поэме Данте и романсах менестрелей. И теперь, в наше время, жизнь народов выражается не в одной литературе, а только преимущественно в литературе. Это, впрочем, было и всегда, за исключением разве средних веков. Кроме того, что литература объемлет собою несравненно обширнейший круг народного сознания, нежели всякое другое искусство, — ее памятники прочнее, несокрушимее, вековечнее, потому что она, по сущности своей, духовнее других искусств, менее зависит от материальных средств.

Но здесь есть недоразумение: мы назвали литературу искусством и противопоставили ее другим искусствам. Это не совсем опреде-

лительно, и на этот счет надо яснее выразиться; надо начать с начала, надо определить литературу, с точностию указать, что входит в ее круг, с чем она соприкасается и что должно исключать из ее круга. Автор «Опыта», как и должно, не миновал этого вопроса, но рассмотрел и по-своему решил его. Он начинает рассматривать его с отношений между частным и общим, национальным и общечеловеческим, и в основу сокровенной внутренней жизни литературы полагает общие всему человечеству идеи разума.

Здесь являются и те коренные, первоначальные идеи истинного, праведного и изящного, главные провозвестники нашей разумности, которыми измеряются заслуга и достоинство наших деяний. Только человеку, постепенно, но постоянно озаряемому и оживляемому высшими идеями разума, доступны и дороги всевозможные нравственные интересы – интересы государства, нации и, наконец, интересы всего человеческого рода. Но ничем столько не укрепляется его благородный союз с ними, как идеями истинного и изящно-

го. В натуре этих великих идей есть что-то столь священное и августейшее, что пред ними невольно преклоняется эгоизм страстей – и скорее прикосновением к ним он сам очистится, чем успеет осквернить их недоступную целомудренную чистоту. – Все важнейшие общественные вопросы решаются более или менее духом специальных стремлений. Так и должно быть. Задача целого должна для своего осуществления раздробиться на элементы; иначе на своей отвлеченной высоте она осталась бы уединенною и не многим доступною. Из взаимного действия и противодействия, из соревнования и борьбы этих стихий рождается то общественное движение, которое составляет жизнь и источник развития народов. Не бойтесь за целое: оно не распадется от беспокойного борения частей; над ними царствует и их скрепляет единство национального начала. Пока оно крепко в сердцах, все обращается во благо, как в здоровом теле, и острые снеди служат к его укреплению. Но вот, кажется, неоспоримая истина:

само национальное начало не может быть отрывком в истории мира, и результат, которого оно должно достигнуть, подчиняя себе совокупное движение всех частных сил, не может быть другой, как возвышение в людях достоинством национального достоинства человеческого. Чем оно свежее и могущественнее, тем только блистательнее совершит оно свою великую миссию во имя человечества. Но велико и воздаяние за то: народ не будет уже варваром. Мы спасаемся от варварства, делаясь лучшими в силах и качествах, принадлежащих нашей натуре, нашему роду, из которого некуда более выйти, как или в состояние небожителей, или в состояние животного, – и на земле нет для человека иного источника величия, славы и образованности, кроме всеобщего союза идей. Что б ни говорили защитники ложной народности, состоящей в исключительном господстве начал территориальных, а нравственные убеждения, без которых общество людей есть стадо волков или баранов, не суть дело обычая, а дело высших разумных ин-

стинктов, одинаких для всех племен и поколений. Обычай служит им только формою и основанием частных различий, составляющих неисчерпаемое разнообразие в стройном единстве человеческого рода.

Отсутствие истин этих было натуральным только в древних обществах, то есть тех обществах, которые мы исторически верно сколько-нибудь знаем, где жизнь волновалась и изнемогала среди раздельности и противуборства национальных начал, где последние были столь сильны, что подавляли всякую свободно-разумную личность. Идея человечества еще не вошла тогда в зенит своего пути над нравственным миром – и слабые лучи ее едва скользили на его поверхности, дикой и невозделанной. Племена теснились около своих богов, около своих преданий; осматриваясь вокруг себя со страхом и враждою в сердце, они ничего не видели, кроме чуждых богов и чуждых преданий. Все было частным, особенным – понятия, верования, нравы; общим было только одно – право меча. Всемирная гражданственность

Рима, насаждая повсюду свои нравы и учреждения, не в состоянии была удерживать народы в том возвышенном единстве, которое заключалось в ее духе и образовании. Во-первых, она действовала на них политическим могуществом, которое, превращая сначала людей в рабов, говорило им после: будьте людьми; оно могло произвести только внешний порядок, и то беспрестанною угрозою меча и новых цепей. Во-вторых, образованность римлян была, в свою очередь, также не более, как случайным выражением их личности, их счастливых способностей; нравственное и умственное возвышение, до которого они достигли, было плодом их веры в самих себя, а не в вечные и неизменные силы, не в великую будущность человечества. Оттого, как скоро национальные опоры, спешествовавшие развитию их духа, пали, пало и их нравственное превосходство; ему негде было уже искать убежища и подкрепления: для Рима ничего не было во вселенной, кроме Рима. Когда Тиверии и Нероны осуждали гражданина на лишение воды и огня в римских об-

ластях, это была только формула, этикет смертной казни: ибо где осужденный на земле был бы не в римских областях? Итак, с истощением всего, что давали римлянам их учреждения, их политические виды и успехи, им ничего не оставалось, кроме смерти; но должно было умереть в муках казни за пролитую кровь мира – и как не нашлось на земле палача, который бы осмелился исполнить над этим державным народом приговор судеб, то он сам сделался своим палачом. И эта ли образованность могла сделаться всемирною, могла быть принята народами как единственное начало их движения, как залог их нравственных успехов? Греки были способнее очеловечивать варваров, если бы люди могли развиваться посредством правил, наставлений, примеров, а не посредством возбуждения в них самих пребывающего животворного начала разумности. Правда, Европа многим обязана наследству, которое она получила в греко-римском образовании; но она не прежде им воспользовалась, как под влиянием новой животворной силы,

которая, воспитывая ее свежие племена для великой будущности, научила их извлекать добро из прошедшего и избегать его злоупотреблений.

Таков был некогда ход человеческих вещей, таким он должен был явиться в свое время, но таким уже никогда не будет. С тех пор, как единородный сын божий благоволил счесть достойным своего величества жить и умереть человеком; с тех пор, как раскрыл он в нас дотоле неведомый нам самим мир духа, завещав деятельности нашей новую цель – бесконечное развитие и усовершенствование; как независимо от всякого различия состояний, племен, каст и школ, он каждому помышлению нашему, слову, вздоху и слезе дал смысл и цену только из уважения к их человеческому происхождению, – с тех пор всякая исключительная система деятельности стала нелепым анахронизмом – и не черпать из нового источника жизни того, что всем дается одинаково как всеобщая истина и благо, значило бы обречь себя на нравственную смерть. Христианство изменило род человеческий; но благо-

творнейшее следствие этого изменения есть то, что ныне и великий гражданин не в состоянии искупить пороков человека.

Вот мы у самого корня начал, из которых должно произойти определение литературы. Если народ в состоянии отделить в себе то, что принадлежит правам мысли всеобщей, человеческой – идеям изящного и истинного, от того, что не относится к ним, если он воздвигает и развивает эту мысль в своей жизни, в своих понятиях, в своей истории и результаты этой деятельности выражает наконец в художественных, стройных формах слова, он созидает, он имеет литературу. Итак, «литература есть мысль человеческая, возникающая у народа вместе с ним из его духа, жизни, исторических и местных обстоятельств и посредством слова выражающая свое народочеловеческое развитие под совокупным влиянием верховных и всеобщих идей истинного и изящного». Вот где совершается святое примирение личности народа с требованиями всеобщего человеческого порядка вещей.

Тогда как другими способами деятельности – общественным устройством, нравами, обычаями и проч. он более или менее уклоняется от этого порядка и достигает своих исключительных, домашних, так сказать, целей – в литературе он выражает свое сознание о том, что свято, дорого и необходимо всем людям, как существам, наделенным одними и теми же нравственными нуждами и способами мыслить, чувствовать и выражать свои мысли и чувствования. Он не может здесь, как и нигде, утратить своей национальности, потому что это значило бы утратить жизнь. И где же, как не в своих священных верованиях и преданиях, как не в памяти своей славы, как не на могилах отцов своих, не в сочувствии к своей матери-природе, хотя бы она дышала на него вьюгами и говорила с ним ропотом воли, – где же, наконец, как не в своих современных нуждах, скорбях и упованиях найдет он вдохновение, содержание для своей сердечной песни, для важных дум, и слово, дышащее убеждением живой истины и силою дел? – Но он

также не может подавить в себе общечеловеческих стремлений: это значило бы, что он хочет дать себе личность какую-то чудовищную, зверскую, ниспровергающую нравственный порядок, оскорбляющую бога – блюстителя его и людей, его строителей. Литературою народ свидетельствует о степени участия, принимаемого им в судьбах, целях и успехах человечества, как лицо, ответственное перед миродержавным промыслом, как деятель самобытный и в то же время верный законам целого, как народ-человек.

Итак, не в особенном роде предметов или содержания заключается самостоятельность литературы и отличие ее от всех прочих произведений письменности и изящных искусств, но в особенном направлении человеческого духа, которое вверяется для применения и выражения благороднейшим усилиям избранного народа. Это направление не состоит в исключительном стремлении ни к истине, ни к изящному: оно есть акт духа, претворяющий одно в другое – истину в изящ-

ное и изящное – в истинное. Литературу не должно смешивать с наукою. Несмотря на множество точек соприкосновения между ними, они существенно отличны одна от другой. Мы должны указать по крайней мере на главные черты этого различия, ибо основательное учение не терпит смешения понятий. В науке и литературе мысль, облекаясь в слово, является в своей первостихийной чистоте, со всею свободою, свойственною ее характеру и охраняемую способом самого ее проявления, – вот почему наука и литература так дружны между собою. Истина есть одинаково верховная задача для науки и для литературы, потому что мысль только в истине находит удовлетворение своего бытия, следовательно, и цель его. Но наука ищет истины, добывает ее; это служебное орудие мысли, посредством которого выполняются только требования ее личных интересов. Литература стремится к истине, как к величайшему благу жизни; она, если можно так выразиться, любит в ней не ее самую, а ее власть и способность благоотво-

ритель людям, возвышая в них в одно время чувство своего достоинства и уважения к законности. Наука, действуя в духе мысли, приносит ей и дань истины в виде мыслительном, то есть в виде всеобщих отвлеченных понятий, чуждых непосредственного отношения к случаям и событиям эпохи, общества, поколений и т. п. Литература, напротив, исключительно посвящает себя этим отношениям. Она хочет истинною одушевить, согреть все существо человеческое; она пролагает ей путь ко всем убеждениям, ко всем верованиям и вводит ее прямо туда, где слагаются они – в сердце людей. Здесь истина изменяет свою наружность; она совлекается форменной одежды понятий и принимает праздничный наряд образов, то богатый и роскошный, то простой и грациозный. Охваченная отвсюду интересами жизни, переродившаяся вся в соприкосновении с самыми возвышенными и неотразимыми вопросами ее, она получает такой характер, какого в ней и не подозревают усердные ревнители ее самобытности, ее строгого и уединенно-

го величия, – характер красоты, которая хочет правиться, трогать, пленять, любить и быть любимой. Изящное неразлучно с литературою: то как цель и содержание, то как условие формы, звук и краски языка. Оно-то, присутствуя в мысли народа, дает ей особенное настроение, которое наконец должно разрешиться и новыми результатами и новыми формами слова.

Для науки истина есть предмет наблюдений, опытов, упорных, продолжительных и многосложных изысканий; она вооружена всеми рабочими снарядами, с помощью коих ум проникает в самые мрачные и таинственные глубины вещей; литература не знает механизма ученых исследований; труд ее есть труд создания, а не разработка материалов; для ней истина есть нечто данное и готовое, ожидающее предназначенного ей свыше преобразования из идеи в действительность. У науки даже есть видимая цель в беспредельной области истины, и каждая отрасль ее, обращаясь к известной стороне природы и человека, находит в ней и содержание опреде-

ленною объема и рода. Она знает, куда идет и что ожидает ее на конце поприща. Литература не предвидит следствия своих стремлений; поприще ее неизмеримее и теряется за видимым горизонтом вещей в глубине самых таинственных, неуловимых влечений жизни и души. Она, так сказать, ежеминутно возникает из нравственных и исторических потребностей народа, как бой сердца в груди нашей, как удар пульса и дыхание. Метода науки так определена, что ее можно найти и изучить в любой логике; но способы создания в литературе или какой-нибудь отрасли ее до того различны по характеру народов и эпох, что до сих пор мы не успели изъяснить с точностью и подвести под категории главнейших и немногих из них. Так и должно быть. Наука исключительно управляется законами логической необходимости, потому что она представительница всякой необходимости на земле; литература, напротив, есть выражение свободы духа – и отвлеченный закон мысли является в ней только как ограничение, а не как един-

ственный способ развития и сочетания предметов: жизнь свободы, кроме логического пути, раскидывается и мчится еще по многим другим путям, пролагаемым судьбою вещей и событий. Наука не знает народа, она знает одно человечество; литература видит человеческое не иначе как отраженным в призме народности. В ней все имеет отношение к народу, к известной эпохе его развития и образования; она не только мысль, но и верование, и страсть, и судьба. Для литературы только и важны те задачи Разума, которые народом поняты, восчувствованы и решены так, что человечество здесь является благоговеющим уже пред славою своего сына, гениального народа, озарившего себя и его блеском великих созданий. Ей принадлежит почетнейшее из преимуществ человека – творчество со всеми замыслами гордой воли, с жизнедательным огнем вселюбящего сердца, когда человек смеет сказать творению: «Я могу вдохнуть в тебя новую жизнь!» Литература служит проводником науки в жизнь и общество, как единая закон-

ная посредница между ними. Занятая вопросами о том, что в вещах есть всеобщего и необходимого, наука не в состоянии нисходить до подробностей их развития, до их интересов, местных и преходящих, а быв ограничена пределами человеческого ума, она по необходимости становится специальною. Не удивительно, что у ней есть свои тайны, своя непонятность для умов непризванных и непосвященных. Сколько бы ни говорили в наше время о пользе и возможности популярного изложения науки, эта популярность всегда будет не иное что, как применение только известных истин к нуждам жизни, а то, чего применить нельзя и что большею частью составляет глубину и сущность науки, – ее общие силы и приемы ее анализа, всегда будут требовать особенного для себя места в сфере разума, особенных усилий и языка. Но от литературы зависит более или менее онародить науку, сделать ее если не доступною всем и каждому, то для всех предметом сочувствия, предметом народной славы, силою привлекающею, а не отталкиваю-

щю. Правда, наука может существовать и без литературы; но это будет существование властелина без любви граждан, с правом повелевать без умения и возможности делать их счастливыми. Ей будут воздавать приличные почести, как в века схоластицизма, но без нее будут уметь обходиться везде, где своекорыстие и страсти захотят выполнить свои темные замыслы. Ибо без литературы кто прольет в науку чувство человеческих потребностей и эти потребности, подняв в самом прахе на самом дне общества, возвысит до воззрений науки? Не ведая их, на своей царственной высоте, она ревностно станет заботиться о славе человеческого разума, об истине, о своем бессмертии, о всем благородном и прекрасном, кроме того, что существенно благородно и прекрасно, кроме делания людей благородными и прекрасными.

Во всем этом много истины, и все это очень близко к истине, многое выражено необыкновенно удачно и определенно; но нам кажется, что тут вопрос решен не вполне

удовлетворительно. Прежде всего обратим внимание на то, что г. Никитенко противопоставляет *науку литературе*. Это не совсем верно с его же собственной точки зрения на литературу, потому что под его определение литературы (стр. 24–25) подходит и наука, как «мысль человеческая, возникающая у народа вместе с ним из его духа, жизни, исторических и местных обстоятельств и посредством слова выражающая свое народочеловеческое развитие под совокупным влиянием верховных и всеобщих идей истинного и изящного». Повторяем: это определение так же идет и к науке, как и к литературе, и по этому самому не выражает верно ни той, ни другой. Содержание науки и литературы одно и то же – истина; следовательно, вся разница между ними состоит только в форме, в методе, в пути, в способе, которыми каждая из них выражает истину. Так как у обеих одно и то же орудие выражения – *слово*, то и отделить их друг от друга можно только на существенном отличии. Литература, в обширном значении, обнимает собою и науку, и потому говорится: *литература истории, литература химии, ли-*

тература медицины и т. д. Таким образом, в этом смысле, сама наука относится к литературе, как вид к роду, как часть к целому. Противопоставив литературе науку, автор хотел яснее и точнее определить первую через ее противоположность. Цель хорошая и средство верное; но тут есть ошибка, которая парализовала средство и не допустила вполне достичь цели: автор упустил из вида *искусство*, которое и следовало противопоставить литературе, чтоб точно и верно определить последнюю. Но, может быть, мы сами ошибаемся, и автор под литературою понимает именно искусство? В таком случае, его ошибка делается еще большею. Во-первых, под его определение литературы искусство никак не подойдет, потому что в этом определении нет ни слова о творчестве; во-вторых, литература состоит не из одних только произведений искусства. Говоря об искусстве по поводу литературы, должно разуметь искусство словесное, то есть поэзию. Определить поэзию – значит определить искусство вообще, то есть столько же определить и архитектуру, и скульптуру, и живопись, и музыку, сколько и

поэзию, потому что последняя от первых раз-
нится не сущностью, а способом выражения.
Правда, этот способ, то есть слово, делает ее
выше всех других искусств и производит це-
лый круг эстетических законов, только ей од-
ной свойственных и всякому другому искус-
ству чуждых. Но это показывает только, что
теория поэзии существенно разделяется на
две части – общую и прикладную: в первой
объясняется значение искусства вообще и из-
лагаются законы, равно общие всем искус-
ствам; а во второй поэзия рассматривается
как особенное искусство, имеющее свои,
только ей свойственные законы. Вот это-то
словесное, или *литературное*, искусство, то
есть *поэзия*, и должно противопоставляться на-
уке для взаимного определения той и другой,
как двух самостоятельных областей литерату-
ры. В таком случае, их различие очевидно:
наука – область спекулятивного, диалектиче-
ского развития истины, как мысли прямо, без
всякого посредства образов. Главный деятель
науки – ум, и всего менее фантазия. Искус-
ство, следовательно, и поэзия, есть, напротив,
непосредственное развитие истины, в кото-

ром мысль высказывается через образ и в котором главный деятель есть фантазия. Наука, разлагающею деятельностью рассудка, отвлекает общие идеи от живых явлений. Искусство, творящею деятельностью фантазии, общие идеи являет живыми образами. Наука мертва для непосвященного в ее таинства; искусство оказывает свое влияние иногда над самыми грубыми и невежественными людьми. Наука требует всей жизни человека, всего человека; искусство более или менее дается почти всякому. Наука действует мыслию прямо на ум; искусство действует непосредственно на чувство человека. Это два полюса совершенно противоположные. Только в истории наука и искусство соединяются вместе для достижения одной и той же цели, потому что в наше время история есть столько же ученое, по внутреннему содержанию, сколько художественное, по изложению, произведение. Доселе мы говорили о науке спекулятивной, которая весь мир явлений переводит на язык мысли, идеи и в которой бытие является единым, из самого себя вечно развивающимся идеальным началом; другая наука – наука

опытная, эмпирическая, терпеливым и постоянным трудом медленно, шаг за шагом, приобретающая и приготавливающая поприще для завоеваний мысли, – эта наука тоже противоположна искусству. Она находит, разлагает, сравнивает, приводит в порядок бесконечный мир фактов, классифицирует их. Она тоже не для толпы, а для избранных, тоже требует всей жизни человека, всего человека, также имеет своих героев и мучеников.

Итак, вот первое различие науки от искусства в отношении к обществу: тайны ее, то есть процесс ее деятельности, доступен только для посвященных, для тружеников, по страсти обрекших себя ее служению, – следовательно, для самой малейшей части общества; результаты же науки доступны уже для большей части общества, то есть не для одних ученых, но и для дилетантов. Искусство, напротив, по его доступности, существует для всех, хотя и не в равной мере и не для всех одинаково.

Искусство существует даже для диких народов. Песнью дикарь торжествует свою победу над врагом; песнью возбуждает он в себе

воинственный пыл, готовясь на битву; в песне изливает он и горе и радость. Но неизмеримое пространство разделяет народную песню от художественной поэмы или драмы. В образованных обществах (у которых одних может быть художественная поэзия) художественные произведения имеют обширный круг читателей, а драматическая поэзия, через театр, делается доступною даже безграмотным людям. Однако ж из этого еще не следует, чтоб художественные произведения были не только доступны всему обществу, но и вполне доступны только его меньшей части. Для полного, истинного достижения искусства, а следовательно, и полного, истинного наслаждения им, необходимо основательное изучение, развитие; *эстетическое чувство*, получаемое человеком от природы, должно возвыситься на степень *эстетического вкуса*, приобретаемого изучением и развитием. А это возможно только для тех, кто на искусство смотрит не как на приятное препровождение времени, веселое занятие от нечего делать или легкое средство от скуки, но кто видит в искусстве серьезное дело, требующее

размышления, вызывающее на мысль, развивающее и ум и сердце. Искусство должно иметь не одних только дилетантов, но и жрецов, героев и мучеников, которые, не производя ничего сами, тем не менее занимаются им, как делом своей жизни, как своим назначением, горячо берут к сердцу его, успехи, его ослабление, его упадок; изучая его сами, объясняют его другим. Это та же наука, та же ученость, потому что для истинного постижения искусства, для истинного наслаждения им нужно много и много, всегда и всегда учиться, и притом учиться многому такому, что, по видимому, находится совершенно вне сферы искусства. Сами дилетанты, эти любезники искусства, ищущие в нем только наслаждения и развлечения, сами дилетанты разделяются на множество разрядов, по степени их страсти или пристрастия к искусству. Для толпы же собственно существуют только результаты искусства, и то без их ведома и сознания: само искусство вовсе не существует для нее, так же как и наука. Толпа никогда не понимает высоких произведений искусства, и они редко ей нравятся, потому что, как мы

сказали выше, искусство требует изучения, требует особенного посвящения в его таинства. А между тем необходимо, чтоб и у толпы было свое искусство, своя литература. И толпа имеет то и другое в так называемой *беллетристике*, за неимением другого, более определительного термина. Деятели беллетристики – таланты, иногда большие, всего чаще малые. Беллетристика (*belles-lettres*) есть ежедневная пища общества, которая переменяется ежедневно, потому что одни и те же блюда скоро надоедают. Беллетристика относится к искусству, как гравюры и литографии относятся к картинам, как статуэтки и фигурки, бронзовые, мраморные и гипсовые, – к вековым произведениям скульптуры, к статуям Венеры Медичейской и Аполлона Бельведерского. Как бы ни была хороша гравюра или литография, хотя бы это была мастерская копия с мастерской картины, она – не более, как украшение вашей комнаты, украшение, которое скоро наскучает, и вы спешите заменить ее другою, как спешите переменить мебель, обои ваших комнат, занавески ваших окон, сообразуясь с требованиями моды. Но

если вы владеете картиною великого мастера и если умеете понимать ее, – она никогда не наскучит вам, вы никогда не выучите ее наизусть, но всегда будете открывать в ней новые красоты, прежде не замеченные вами; вы повесите ее не для украшения комнаты, потому что комната, как бы ни была великолепна, так же не стоит этой картины, так же недостойна украшаться ею, как не стоит она человека. И вы для этой картины выберете не лучшую, не великолепнейшую, не роскошнейшую, а удобнейшую, хотя бы и самую простую комнату вашего дома, – комнату, которая должна быть удобно для картины освещена и в которой не должно быть никаких игрушек. Из сказанного видно, в чем состоит существенная разница между художественными и беллетристическими произведениями. Ведь и гравюра и статуэтка принадлежат к области изящного, и в них есть и творчество и художественность; но в какой мере – вот вопрос! Мало этого: все эти игрушки, все домашние принадлежности – лампы, жирандоли, шандалы, чернильницы, пресс-папье, сигарочницы, мебель и пр. и пр., – все эти вещи

теперь делаются с таким вкусом, таким изяществом, что те, которые изобретают их форму, более имеют право называться артистами, нежели мастерами. Но естественно, что гравюры и статуэтки стоят еще на высшей степени художественности, нежели домашняя утварь, и более, нежели она, принадлежат к миру изящного. Итак, где же, в чем же та резкая черта, которая отделяет искусство от беллетристики? – Резкой черты нет и быть не может, так же как в психологическом мире нет резкой черты между гениальностью и бездарностью, умом и глупостью, красотой и безобразием, потому что между всеми этими крайностями есть посредствующие звенья, переходы и оттенки незаметные и невидимые. Резкой черты нет, но черта есть. Истинно художественное произведение бессмертно; оно составляет вечный капитал литературы. Оно, при своем появлении, иногда может быть даже не узно и не признано современниками, не только толпою, но и учеными; однако ж оно возьмет свое, и будущие поколения преклонятся перед ним, вдохновенные веющим в нем духом новой жизни.

Беллетристические произведения, напротив, могут добиваться только разве долговечности, но никогда не достигнут бессмертия; они рождаются тысячами, – тысячами и умирают; вчера еще победоносные, владевшие вниманием света, восхищавшие и радовавшие его, веселые, гордые, свежие, живые, яркие, блестящие, – сегодня они уже блекнут, вянут, а завтра их нет. Всего более и всего чаще они имеют огромный успех при своем появлении; толпа тотчас же провозглашает их гениальными произведениями, кроме их не хочет ничего знать, ничего читать, ни о чем слышать, ни о чем говорить; но время идет, и колоссальное, великое произведение умирает в мале, а неблагодарная толпа забывает даже, как она превозносила его, и нагло отпирается даже от знакомства с ним, как отпираются люди от знакомства с разорившимся богачом, у ног которого недавно ползали они... Но из этого еще не следует, чтоб беллетристические эфемериды были ничтожными явлениями и не заслуживали внимания и уважения людей дельных. Нет, они необходимы, они имеют великое значение, великий смысл. Само ис-

кусство так же не заменит их, как и они не заменят искусства; они необходимы и благодетельны, как и художественные произведения. Они – искусство толпы; без них толпа была бы лишена благоденствий искусства. Сверх того, в беллетристике выражаются потребности настоящего, дума и вопрос дня, которых иногда не предчувствовала ни наука, ни искусство, ни сам автор подобного беллетристического произведения. Следовательно, подобные произведения, так же как и наука и искусство, бывают живыми откровениями действительности, живою почвою истины и зерном будущего.

Итак, мы нашли уже три области литературы: науку, искусство (поэзию) и беллетристику. Но это еще не всё: остается еще область, не названная нами, но не менее великая и важная, особенно в наше время, в которое она так развилась и усилилась. Для этой области нет названия на русском языке, и потому мы назовем ее так, как она называется там, где родилась, где ее владычество и сила, прессою (*la presse*). В эту область литературы входит журналистика, брошюра, словом, все,

что легко, изящно и доступно для всех и каждого, для общества, для толпы, что популяризирует, обобщает идеи, знакомит с результатами науки и искусства и распространяет энциклопедическое образование, превращает интересы и вопросы, самые отвлеченные и глубокие, в интересы и вопросы жизни, для всех и каждого равно близкие и важные, словом, сближает науку и искусство с жизнью.

Теперь взглянем на взаимные отношения этих четырех областей литературы, чтоб увидеть, как и в какой мере все они могут служить содержанием *истории литературы*.

Наука имеет свою историю, искусство также; но искусств много, и каждое из них, независимо от других, может иметь свою историю, следовательно, и словесное, или литературное, искусство – поэзия. Но история поэзии, без связи с историей беллетристики и прессы вообще, была бы неполна и односторонняя; следовательно, она так и просится сама в историю литературы, как одна из главнейших и существеннейших частей ее. Наука, несмотря на всю свою противоположность поэзии, не может не действовать на нее, ни

не принимать на себя ее влияния. Мы не будем говорить уже о том, как действует философия на поэзию и поэзия на философию: это завлекло бы слишком далеко; скажем только, что никак невозможно отрицать хотя непрямого и невидимого влияния на искусство даже положительных наук, какова, например, математика. Новый способ решать теорему, конечно, не может иметь никакого влияния на искусство; но решение вопроса о круглоте земли и ее обращении вокруг неподвижного, в отношении к ней, солнца, о движении всей мировой системы, – решение таких вопросов, развязав умы, сделав их смелее и полётистее, могло ли не иметь влияния на фантазию поэта и его произведения? Все живое – в связи между собою; наука и искусство суть стороны бытия, которое едино и цело: могут ли стороны одного предмета быть чужды друг другу? Итак, история науки должна входить в историю литературы, по крайней мере в той мере, в какой наука, по своим результатам, имела влияние на искусство. Влияние поэзии на беллетристику очевидно: беллетристика есть та же поэзия, только низшая, менее строгая и

чистая, – то же золото, только низшей пробы, только смешанное с металлами низшего достоинства. Поэзия дает беллетристике жизнь и направление, и потому иногда одно высокое художественное произведение порождает множество более или менее прекрасных беллетристических явлений; один гений дает полет множеству талантов. Но и беллетристика, с своей стороны, имеет влияние на искусство: она переводит на язык толпы его идеи и даже делает толпе доступными художественные произведения, подражая им. Сверх того, беллетристика имеет свои минуты откровения, указывая на живые потребности общества, на непредвиденные вопросы дня, и не дает искусству изолироваться от жизни, от общества и принять характер педантический и аскетический. Что же касается до прессы, – она всему служит, она равно необходима и науке, и искусству, и беллетристике, и обществу.

Итак, содержание истории литературы составляет: история поэзии, беллетристики, прессы и, отчасти, науки. В этом случае мы нисколько не разнимся с г. Никитенко во взгляде на предмет; но нам кажется, что он не

довольно определительно выразился в решении этого вопроса. Вот почти единственное место во всем «Введении», которое мы могли не оспаривать, потому что в сущности мы согласны с ним, но против которого мы нашли сказать что-нибудь. Почти во всем остальном мы вполне согласны с идеями автора, так прекрасно везде изложенными. Мы могли бы проследить их, чтоб представить содержание всей книги г. Никитенко; но думаем, что для читателей будет приятнее непосредственно познакомиться с этой книгою. И потому ограничимся выпискою нескольких мест, не для того, чтоб через них ознакомить публику с книгою, но чтоб украсить ими нашу статью. Сверх того, есть мысли, которые полезно повторять как можно чаще: таких мыслей очень много в книге почтенного профессора. Может быть, некоторые из них были уже высказаны и прежде; но под пером г. Никитенко они принимают всю свежесть и все благоухание новости. Послушаем, например, что говорит он против обскурантизма, прикрываемого моральными видами, против нравственности, основанной на невежестве.

Но не видим ли мы, могут сказать нам еще, что народы, достигшие высокого литературного образования, страдают от пороков своих столько же, сколько поколения невежественные, или эти варварские скопища людей зверообразных, промчавшиеся с шумом по лицу земли и в упоении крови человеческой и животных страстей своих не успевшие даже заметить, что они варвары? Но что это доказывает? Сколько ни находили бы пороков в обществах, сделавших из ума своего употребление, какое свойственно вечно деятельной и развивающейся природе нашей, все же они неизмеримо нравственнее и счастливее тех, кои осудили себя на умственную неподвижность. Суровая дикость народов, отвращение к науке, к искусству, ко всему мыслительному, привязанность к грубым обычаям, которые должны же перемениться, потому что на свете все переменяется, страсть к смраду и нечистоте в понятиях, поступках и образе жизни, свирепая роскошь драк, пыток и костров совсем не заслуживают того уважения, какое оказывают

им защитники ложно понимаемой патриархальной простоты. Человек бывает гораздо хуже тогда, когда он не мыслит вовсе, нежели тогда, когда он ошибается мысля. И эта прелесть невежества, или милая дикость, как назвал ее один из наших поэтов{28}, по которой так вздыхают души тощие или завлеченные в софизмы желанием казаться глубокомысленными, в существе своем не иное что, как безобразная животность, в которой суждено человеку начать свое бытие, потому что он сын земли, но которую он обязан покорить разуму и преобразовать, потому что ему для этого именно и дан разум. Нет ничего нелепее, как принимать за предлог унижения великих предметов то зло, какое к ним прививают люди, как будто есть сила, способная даровать нам на земле совершенное блаженство, как будто совершенство в чем бы то ни было не есть идеал, а что-то возможное для человека, и как будто во всяком случае терпеть и умирать не есть долг наш. Не словом всё, а словами более или менее означаетя сумма, которую мы

можем получить от наших успехов. Когда обществу удалось уничтожить одно из зол, угнетавших поколение, которое ему предшествовало, и приобрести новую истину – оно сделало шаг вперед, несмотря на то, что в самых процессах его работы, может быть, зародилось и новое зло и новое заблуждение. Таков удел человека! Наконец, не от нас зависит форма нашего жребия. Человеку суждено и бедствовать по-человечески; не в болях тела, но в муках сердца искушается его мужество, и самая лучшая слава, какую только может гордиться, человечество, есть слава тех, которые умели страдать и умирать за истину.

Вообще, выбор выписок из такой книги, как это введение в «Опыт», крайне затруднителен: не знаешь, чему отдать предпочтение; желая сохранить последовательность идей, поневоле выписываешь больше, нежели сколько позволяют пределы статьи. Остановился на четвертой главе, содержащей в себе светлый и одушевленный взгляд на реформу Петра Великого и на предшествовавшее ей схоластическое направление нашей учено-

сти, через Киевскую академию. В обоих этих вопросах автор имеет в виду преимущественно русскую народность, говоря о которой, естественно, он не может не говорить о ее поборниках.

С тех пор, как мы начали понимать наше национальное достоинство, много явилось у нас предположений более или менее патриотических, более или менее остроумных о великих судьбах нашего отечества, о его призвании обновить дряхлеющее человечество, примирить элементы Востока и Запада и проч. Были даже такие жаркие ревнители отечественной славы, которые хотели усыновить Россию Аттиле{29} и тем доказать неоспоримое ее право и возможность выбросить Европу за окно вселенной с ее железными дорогами, паровыми машинами, книгопечатанием, с гробами Ньютонов, Декартов, Данте, Шекспиров, Гете. Эти детские теории, при всей их пылкости, ничего не решат о том, чего знать никому не дано, то есть о будущем состоянии вещей. К сожалению, они так же ничтожны и для настоящего. Вместо

того, чтобы озарять светом основательного знания предметы, тесно связанные с благодеянием и славою отечества, или воодушевлять сердца ревностию ко всему разумному, честному, нравственно великому и тем точно содействовать великим судьбам народа, хотя и не во вкусе Аттилы, – эти теории, будучи пустою игрою праздной фантазии или надутого школьного суесловия, чуждые существенных интересов общества, разлетаются поверх него дымом, не пробуждая ни в ком ни одного плодоносящего убеждения и верования.

.....

Из недр народа, в лице державного гения, возникло могущество с идеями разума всемирного и характером творческим, соединяющее в себе нравственное превосходство с политической диктатурою, с возможностью располагать средствами громадными и неистощимыми. Проникнутое трепетным сознанием опасности, какую угрожали обществу презренные выгоды образованности, преисполняясь глубокою народностью не нравов, а духа,

преодолевшего суровые нравы, оно, крепкое давно существующими, хотя и невыказанными нуждами этой стихийной бессмертной народности, разбило вековые преграды и вынесло, так сказать, на плечах своих из тесноты и мрака наши способности, нашу угнетенную, но живую нравственную силу, чтобы поставить их лицом к лицу со всеми высшими задачами и целями истории. Таким-то необычайным способом Россия вошла в свою естественную сферу жизни; ее допустили с почетом к участию в судьбе народов образованных, но не по праву преданий или памяти прежних заслуг, а единственно по праву ее дарований, во имя блестящей будущности, не в пример другим. Сперва движение мысли у нас в науке, в литературе, в обществе казалось шатким и неопределенным: ей недоставало исторического происхождения и материальной фактической опоры в предыдущем порядке событий. Факт удерживал бы ее в границах, но в то же время служил бы ей твердым основанием и убежищем от многих заблуждений, с которыми она встреча-

лась неволью в своем беззаботном странствовании. Но, к сожаленью, она произошла не от фактической породы, а от породы идей, и ей надобно было еще приобрести себе руководителей и опоры в самой жизни, в вещах. Действительно, с пробуждением наших способностей нужды нового, неиспытанного существования возрастали более и более; эти-то нужды должны были заменить для мысли нашей элементы исторические и сделаться ее почвою. Это исполнилось. Мало-помалу в новом преобразованном обществе возникло множество человеческих вопросов, множество отношений, страстей, желаний, которым могла удовлетворять одна мысль. Политическая степень, занятая государством, участие в величайших всемирных событиях, виды нового законодательства, потребности нового гражданского порядка – все это взывало к мысли, требовало ее могучего содействия. Отвсюду объятая интересами жизни, она пустила в них свой корень, начала развиваться, делаться образованностию самостоятельной. Откуда она пришла?

чья она? Скоро перестанем мы спрашивать о том: мы только будем гордиться ею, как нашим прекрасным достоянием, несмотря на разительное ее сходство с физиономией Европы и человечества. Изумительное, неслыханное явление, если мы сравним настоящее с прошедшим. Между тем оно есть не более, как возвращение народом того, что он случайно обронил в суматохе пожаров и кровопролитий или что у него украли враги и судьба. Если б можно было чему-нибудь удивиться на земле, то не тому, что мы ныне, а тому, как могли мы с нашими способностями, с славяно-европейским умом и сердцем так долго быть иными. Теперь не время предаваться пустым словопрениям о том, какую бы систему образования следовало нам принять – она решена и принята, не по совету теорий и воле людей, но по воле промысла и непреодолимому влечению национального гения. Мы дети славяно-руссов и Византии; от них мы получили драгоценное наследие – нашу душу и жизнь души, святую православную веру; не менее того мы дети Пет-

ра. Он не создал в нас нравственной возможности быть тем, чем ему хотелось, потому что этого люди не создают. Он сам, напротив, был славяно-руссом и сыном веры в чистейшем смысле этих слов. Но он первый глубоким инстинктом гения понял основные начала нашей народности, несмотря на грубую накипь варварства, наросшую на ней в века татарства; первый измерил наше нравственное могущество, первый уверовал в высокое его призвание и голосом смелым, полным симпатии и надежды, воззвал его к развитию и деятельности. По предметам, по цели, если угодно, по фактам это было новое и чрезвычайное событие, которое история наша по справедливости называет реформою, переворотом; по внутреннему прагматизму мысли это был естественный логический шаг нашей народности, задержанной в своем ходе, но не измененной в сущности ни татарами, ни реформою. Она, эта гибкая, крепкая, энергическая, светлоумная аналитическая народность в самой колыбели своей обречена действовать,

как она действует, обречена стереть с лица земли двух завоевателей, одного храброго, другого величайшего, брить бороду, носить модные шляпки и фракки Парижа, читать Байрона, Шекспира, Гёте, Шеллинга и Гегеля, говорить языком Карамзина, Жуковского, Пушкина, Крылова, иметь университеты, академии и гимназии. То, что при других обстоятельствах могло бы произойти и явиться в XV или XVI веке, то явилось в XVIII и XIX – вот вся разница!

Опровергая нелепую мысль, будто реформа Петра Великого была насильственным событием, автор обзореваает бегло историю России до Петра, показывая, что и тогда она не стояла на одном месте, но изменялась, и что еще при царе Алексии Михайловиче началось вторжение в Россию иностранных идей.

Скоро явились две новые силы, как бы для того, чтобы взволновать наконец тяжелое, удрученное самим собою общество, – Киев и Никон. Киев предстал с самыми благовидными дарами – с дарами науки, которую он скромно возделывал в стенах своей академии по

схоластическим понятиям. Это было важным событием для тогдашнего общества. Оно увидело вдруг перед собою хитро сложенную машину для добывания и обработки мыслей – науку. Действительно, это была машина, которую с успехом могли бы употребить люди, до того уже обогащенные материалами знания, что следовало позаботиться о форме, о его устройстве и администрации. Этого не было – и потому-то надлежало бы начать не с одних форм, но с возбуждения духа; надлежало бы воскресить в умах то симпатическое сочувствие к знанию, которое так свойственно человеческой и русской натуре и которое действует сперва темно и шатко, но наконец, возрастая постепенно, принимает участие, чтоб сквозь сердце перелить его в ум. Нужно было коренное и всеобщее потрясение умов – нужно было движение, сила, блеск, чтоб поразить их, пробудить и заставить бежать из логовищ векового мрака навстречу света и дня. Между тем что перед ними было? Скелет без души и жизни, способный своим неестествен-

ным движением устрашить людей более мужественных и опытных в предметах умственных, чем те, с которыми приходилось иметь дело этой трудолюбивой, благонамеренной и полезной, но тощей и убогой науке. Что же сделала она для русского общества? Отчасти ничего не сделала, а отчасти поссорила с знанием русский ум, который можно обмануть делами, но не идеями. Этого не довольно. У нас оставался язык – важный, сжатый, благолепный, язык веры, образовавшийся и созревший в духе великих истин, которые призван был возвещать и хранить; другой язык, возникший из первого, но переработанный народным умом и чувством, получивший от них их неуловимую гибкость, ясность, пластицизм и простоту. Мы имели еще язык, слитый из обоих предыдущих, язык государственных нужд, дипломатии, без утонченной лживой хитросплетенности, законов без обоюдности значений, с формами строгими, точными, выговаривавший волю законодателя без шатости и необходимости договаривать ее, – язык воззвания

властей к народу, исполненный трогательно-красноречия и царственного величия. Что сделала из них киевская наука? Перемешала их, набросала в них полонизмов, перелила в тяжелые латинские формы и, подкрасив все это схоластическою риторикою, составила язык новый, которому не может быть места ни в науке, потому что он темен, как незнание, ни в литературе, потому что он неспособен править и увлекать, как истинное безобразие, ни в жизни, потому что искусствен и неестествен, как синекдоха и хрия.

Но вот на сцене Никон. Это один из замечательнейших характеров нашей истории, с чертами резкими, с физиономией, дышащей сознанием личной воли, ум, парящий замыслами, по выражению поэта{30}. Мы мало изучали эту энергическую душу, созданную для того, чтоб властвовать, воздымать бури и не бояться их, – а она стоит изучения. Потребность восстановления текста в священных книгах, повреждавшегося в течение нескольких столетий переписки, давно чувствовали

все мыслящие люди. Этот дух критицизма, внушаемый самую чистотой божественного учения, робко проглядывал в убеждениях, не переходя в решение и меру. Никон, влечением упругой своей воли никогда не останавливавшийся на половине пути, мысль об исправлении церковных книг превратил в вопрос общественный, и чего желали, чего боялись многие, он совершил к чести своего времени. Ничто не может быть проще и сообразнее с разумом веры, как это возвращение к истинному и ясному значению писания, предпринятое и освященное самым авторитетом церкви. Мы знаем, однако ж, как подействовал этот благородный, открытый, просвещенный подвиг на грубую массу народа, который, по характеру своего ума, способен понять и оценить всякую ясную и правдивую мысль, но который теперь враждовал против самой очевидной истины, потому что его прекрасный, светлый ум отяжелел, отуманился от бездействия, требовал возбуждения и не находил его. Возникли целые учения, более или менее нелепые, более или менее

удалявшиеся от святого и великого единства религиозного, в котором издревле сосредоточивались умы и сердца русские; пришли в нестройное движение не только идеи, но страсти, и взволновали целое современное общество, угрожая будущности столь же тревожною и сомнительною.

Между тем как таким образом все переменялось, или, лучше сказать, запутывалось на высоте общественных понятий и верований, из недр материальной силы народа возникало чудовище дикое и свирепое, с жаждою крови, вина и денег, соединявшее в своем зверском брадатом лице все ужасы, все пороки, весь осадок татарского элемента, — мы говорим о стрельцах. Владея пищалью, не как благородным оружием, а как дреколем, нестройное и чуждое успехам своего ремесла, это сословие, трусливое перед неприятелем и храброе только перед мирными гражданами, вдруг захотело свою неистовую волю поставить в число первенствующих общественных начал. К полному несчастью этой бурной эпохи именно недоставало только, что-

бы к брожению понятий и нравственной огрубелости присоединилась физическая сила с поползновением участвовать в общем волнении. Это несчастье свершилось. Стрельцы не только захотели участвовать в нем, но решают жребий царства.

Такой-то порядок, или, лучше сказать, беспорядок вещей сложился в России перед самым появлением Петра Великого. Это было, если угодно, движение; но какое? Это не было движение развития, возрастания, обещающего естественный цвет и плод, а судороги встревоженной суровой силы, которую раздражили, дотрогиваясь до нее истиною, новыми понятиями и полумерами.

.....

Мы уверены, что простой здравый ум не мог бы иначе рассуждать, смотря на состояние вещей в эпоху предпетровскую, и если б, как мы сказали прежде, ему вверена была судьба народа, он не мог бы не покориться влечению событий; он повел бы народ по новому пути – и погубил бы его, потому что простым, обыкновенным умом

нельзя совершать подобных дел. Таково было состояние нравов и обстоятельств, что, предприняв систематически наклонять их к новым началам и переходя от одного изменения к другому, надлежало наконец прийти к тем решительным и неожиданным следствиям, где средние меры уже недействительны, где надобно устремиться к крайности, чтоб избежать противоположной, где надобно отважиться на все, чтоб довершить, потому только, что начали. Когда провидение из потрясенных оснований прежнего, из чрезвычайного борения жизненных стихий хочет извлечь новую цветущую жизнь, оно посылает своего уполномоченного – гения и дает ему право и силу действовать способами необычайными, приводящими в трепет и недоумение умы навыка и рутины. Оно послало России Петра. Но Петр ничего не сделал бы без тайного сочувствия народа к новому порядку вещей, который справедливо называют петровскою реформой, если думают, что без него, он бы не существовал, и крайне несправедливо, если ве-

рят, что он его изобрел и создал. Говорят, что Петр Великий ослабил нашу народность. Какая клевета на него и на Россию! Что за народность, которую воля одного человека могла в продолжение четверти столетия ослабить своими учреждениями? Неужели она состояла в оцепенении духа, в невежестве, чуждавшемся всяких успехов науки, искусства и гражданственности, в грубых азиатских обычаях, в ожесточении нравов, с чем Петр Великий вел такую достославную и победоносную борьбу? Нет! это не была народность наша, это было искажение ее. То, что составляет вечную сущность и святыню ее – наш ум, наше сердце, – никогда из собственных недр не могли родить этих змей, высасывавших в самом корне жизнедеятельные соки, – надежду роскошного цвета и плода. Их родило и воспитало горькое рабство, постигшее нас в те смутные дни, когда, юные и неопытные, мы не научились еще владеть и пользоваться нашими силами. Избавить нас от злополучных остатков этого рабства, вернуть нас науке, искусству, со

всеми их безмерными следствиями, вернуть Европе, человечеству, самим себе – значило восстановить нашу народность. – Пусть же уста наши не произносят имени Петра Великого иначе, как с жаркою любовью, с молитвенным благоговением в сердце: он есть истинный восстановитель нашей народности.

Итак, к чему умствовать суетно и бесплодно о будущих судьбах России, которых нет в пределах нашего знания, конечно, потому, что они будущие? Будущность наша велика – в этом нет сомнения; но она должна быть предметом патриотической веры в нашем сердце и источником всякого умственного и гражданского воодушевления, а не основанием выводов для практических ежедневных приложений. К чему также, вопреки самым великим судьбам будущего, обращаться вспять к такому прошедшему, которое может служить уроком для жизни, но не деятелем ее? Наше настоящее может быть обильнее нуждами, требующими постоянных усилий ума, чем настоящее других; оно

имеет свой характер, которого нельзя изъяснить общими историческими местами; по своей чрезвычайности, оно не подходит под их обыкновенные категории и формулы. Мы народ новый в истории всемирной умственной деятельности – вот истина, столь же простая, сколь и важная для нас. Мы должны не продолжать, но начинать; наше богатство не в наследстве, а в собственной разумной деятельности, для которой небо щедро наделило нас способностями. В них-то, в этих прекрасных способностях, наша твердая опора и наши драгоценнейшие надежды на поприще знания и искусства. Все патриотические идеологии должны умолкнуть пред существенными патриотическими интересами, которые можно выразить двумя словами: наука и труд. Мы немного успели еще в той и другом. Но в каком духе должны мы учиться и трудиться? Вопрос странный! как будто дух зависит от выбора людей. Он есть дух века, дух наших верований, наших общественных нужд, сердечных обетов и желаний, дух нашей славы и самобытности. Ему

трудно заглянуть в лицо. Он увлекает нас своею неотразимую силою быстрее, чем мы произносим слово: хочу, и прежде чем мы успели заметить его власть над нашими понятиями и чувствами, он уж властвует; ему не нужно нашего признания, потому что он царствует по праву, потому что он дух убеждения и эпохи, а не выдуманный дух касты или ученой системы. Он не требует повиновения себе, потому что его имеет; он требует для нас, то есть для избавления нас от донкихотства, вместе с повиновением, существенных услуг, а не грез и восклицаний – и за первые он платит, только удостоивая их принять, а за вторые ничем, если невнимание должно принять за ничто в таком деле, где желают чего-то...

Боясь перепечатать всю книгу г. Никитенко, останавливаемся здесь. Мы и без того сделали выписок гораздо больше, нежели сколько нужно, чтоб дать понятие о достоинстве этого сочинения и возбудить в наших читателях желание познакомиться с ним ближе. Подобная книга есть приобретение и для лите-

ратуры, и для публики, читающей для удовольствия, и для публики, читающей для пользы; но еще большее приобретение увидят для себя в ней молодые поколения. Пожелаем вместе с ними, чтоб следующие части труда г. Никитенко не замедлили выходом в свет{31}.

Примечания

Список сокращений

В тексте примечаний приняты следующие сокращения:

Анненков – П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1960.

БАН – Библиотека Академии наук СССР в Ленинграде.

Белинский, АН СССР – В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

Герцен – А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах. М., Изд-во АН СССР, 1954–1966.

ГПБ – Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Добролюбов – Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 1–9. М. – Л., 1961–1964.

Киреевский – Полн. собр. соч. И. В. Киреевского в двух томах под редакцией М. Гершензона. М., 1911.

КСсБ – В. Г. Белинский. Соч., ч. I–XII. М., Изд-во К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1859–1862 (составление и редактирование издания осуществлено Н. Х. Кетчером).

КСсБ, Список I, II... – Приложенный к каждой из первых десяти частей список рецензий Белинского, не вошедших в данное издание «по незначительности своей».

ЛН – «Литературное наследство». М., Изд-во АН СССР.

Ломоносов – М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 1–10. М. – Л., Изд-во АН СССР, 1950–1959.

Панаев – И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950.

ПссБ – Полн. собр. соч. В. Г. Белинского под редакцией С. А. Венгерова (т. I–XI) и В. С. Спридонова (т. XII–XIII), 1900–1948.

Пушкин – Пушкин. Полн. собр. соч., т. I–XVI. М., Изд-во АН СССР, 1937–1949.

Чернышевский – Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Опыт истории русской литературы... А. Никитенко

Впервые – «Отечественные записки», 1845, т. XLI, № 7, отд. V «Критика», с. 1–22 (ц. р. 30 июня; вып. в свет 3 июля). Без подписи. Вошло в КСсБ, ч. IX, с. 370–391.

Небольшая книжка, послужившая поводом для статьи, заключала лишь общее введение к курсу истории русской литературы, который А. В. Никитенко читал в Петербургском университете. Никитенко был одним из первых профессоров, кто защищал идею соединения эстетико-философского изучения литературных произведений с историческим изучением литературы, ее развития, проходящего до определенным законам, в связи с изменениями в жизни общества.

То соглашаясь, то споря с общими положениями, выдвинутыми Никитенко в этом введении, Белинский изложил систематически свои взгляды на задачи изучения литературы. Центральное место заняло в статье определение объема самого понятия «литература», выяснение отношений между искусством (поэзией) и наукой, значения для развития литературы, науки и общества так называемой «беллетристики» и прессы. Подразделения, которые Белинский выделяет здесь в общем понятии *литература*, совпадают в целом с теми, которые выдвигаются в другой статье, не увидевшей печати при жизни кри-

тика и известной под условным названием <Общее значение слова литература> (см. наст. изд., т. 6), что дает основания исследователям датировать работу над второй редакцией последней статьи концом 1844-го или даже началом 1845 г.

Статья по поводу «Опыта» А. В. Никитенко также входит в ряд статей 1844–1845 гг., отразивших полемику со славянофилами. Белинский использовал в этом случае особенно те места из книжки, которые посвящены критике славянофильской доктрины, их взглядов на соотношение древнего и нового периода в русской истории, на значение реформ Петра I и т. д. Четыре большие цитаты, приводимые в конце статьи Белинского, посвящены именно этому. В сжатом обзоре развития русской литературной критики, которым начинается статья, явно выделяется ироническая характеристика Шевырева.

Сноски

1

по должности (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

2

мнимо (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

3

все прочие (*ит.*). – *Ред.*

[^^^]

4

«Московский наблюдатель», 1835, № 11, стр. 442.

[^^^]

5

Ibid., стр. 443.

[^^^]

6

Все это факты не только не преувеличенные, но еще ослабленные нами. Если б нужно было, мы представили бы *печатные* доказательства, что таким слогом писалась критика назад тому лет восемнадцать.

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

«История древней русской словесности» (Киев, 1839) М. А. Максимовича – первая попытка создать историю древнего периода русской литературы; изложение доведено до конца XII в.; продолжения издания не было.

[^^^]

2

«Чтения» С. П. Шевырева под общим названием «Введение в историю русской словесности» печатались в «Москвитянине» за 1844 г. В основе их лежали лекции, читанные в Московском университете. Эти чтения касались преимущественно памятников церковной литературы. Полный курс Шевырева издан позднее («История русской словесности, преимущественно древней», в 2-х частях. СПб., 1846).

[^^^]

3

Речь идет о собственном замысле Белинского. См. о нем – в примеч. к статье <Общее значение слова литература> в т. 6 наст. изд.

[^^^]

4

Ср. иное суждение Белинского о том, кто был «первым критиком в русской литературе», в статье второй «Речь о критике. А. Никитенко» (наст. изд., т. 5, с. 91). Там речь идет о Сумарокове.

[^^^]

5

Статья Н. М. Карамзина «О Богдановиче и его сочинениях» – «Вестник Европы», 1803, ч. IX; «Пантеон российских авторов» – книга (М., 1801), содержащая портреты ряда писателей – древнерусских и XVIII в. – с краткими сведениями о них, составленными Карамзиным. О Карамзине-критике см. также в третьей статье о Пушкине – наст. изд., т. 6, с. 216.

[^^^]

6

Критика «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» А. С. Шишкова и статья о сочинениях И. И. Дмитриева были помещены П. И. Макаровым в ч. IV «Московского Меркурия». О Макарове как писателе и критике см. также в первой и третьей статье о Пушкине – наст. изд., т. 6, с. 101 и 216.

[^^^]

7

Статьи В. А. Жуковского «Басни Ивана Крылова» («Вестник Европы», 1809, ч. XLV) и «Критический разбор Кантемировых сатир с предварительным рассуждением о сатире вообще» (там же, 1810, ч. XLIX–L).

[^^^]

8

См.: «Письмо к И. М. Муравьеву-Апостолу о сочинениях М. Н. Муравьева» («Сын отечества», 1814, № 16); «Ариост и Тасс» («Вестник Европы», 1816, № 6); «Петрарка» (там же, 1816, № 7). Характеристика статей Батюшкова содержится и в третьей статье о Пушкине – наст. изд., т. 6, с. 200–204.

[^^^]

9

Статья П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях Озерова» появилась как вступительная ко 2-му изданию «Сочинений В. А. Озерова» (в 2-х частях, СПб., 1817).

[^^^]

10

Имеются в виду статьи А. Ф. Мерзлякова «Сумароков» («Вестник Европы», 1817, ч. ХСIII–ХСIV) и «Россияда», поэма эпическая г-на Хераскова» («Амфион», 1815, № 1–3, 5–6 и 8–9), см. также его «Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии» («Труды Общества любителей российской словесности», 1812, ч. I). О Мерзлякове как эстетике и критике см. также в третьей статье о Пушкине (наст. изд., т. 6, с. 215–216).

[^^^]

11

Первыми критическими обзорами были статьи А. А. Бестужева в альманахе «Полярная звезда» за 1823–1825 гг.: «Взгляд на старую и новую словесность в России», «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» и «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года».

[^^^]

12

См. подробно о позициях так называемой «романтической критики» (Н. А. Полевой) в статье «Русская литература в 1844 году», с. 167–177. А. Марлинский поместил в «Московском телеграфе» (1833, № 15–18) статью о «Клятве при гробе господнем» Н. Полевого.

[^^^]

13

В 1820-х гг. Шевырев был близок к московским «любомудрам», испытал влияние философии Шеллинга, участвовал в издании «Московского вестника»; один из переводчиков книги В. Г. Ваккенродера «Об искусстве и художниках» – программного документа немецкого романтизма (М., 1826). См. также примеч. к статье «Педант» (наст. изд., т. 4).

[^^^]

14

Ср., например, цитату из предисловия Шевырева к его переводу песни седьмой «Освобожденного Иерусалима» Тассо, приводимую и иронически комментируемую Белинским в статье 1836 г. «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» – наст. изд., т. 1, с. 280–281.

[^^^]

Стихотворение Шевырева «Чтение Данта» напечатано в альманахе «Северные цветы» на 1831 год. Цитируемый здесь стих был часто предметом насмешек в критике. См. еще у Белинского в статье «Стихотворения Полежаева» (наст. изд., т. 5, с. 13) и в рецензии на книжку В. Строева «Париж в 1838 и 1839 годах» (наст. изд., т. 4); позднее – см. в «Очерках гоголевского периода русской литературы». – Чернышевский, т. III, с. 112.

[^^^]

16

См. о разборе повестей Павлова Шевыревым в статьях «О русской повести и повестях г. Гоголя» и «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» – наст. изд., т. 1, с. 158 и 267–270.

[^^^]

17

Об этом говорилось в статье Шевырева о стихотворениях Бенедиктова («Московский наблюдатель», 1835, август, кн. 1), откуда и приводятся две следующие ниже цитаты. Разбор этой статьи см. в статье Белинского «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя».

[^^^]

18

Об этом писал Шевырев в статье «О возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение» («Телескоп», 1831, ч. III); ср. также его предисловие к седьмой песне «Освобожденного Иерусалима» Тассо, переведенной октавами («Московский наблюдатель», 1835, июль, кн. 1 и 2).

[^^^]

19

Речь идет о В. К. Третьяковском. Гекзаметром написана его «Тилемахида»; обоснование необходимости и возможности гексаметра в русской эпической поэзии было сделано им в «Предъизъяснении об ироической пииме» («Тилемахида», СПб., 1766, т. I).

[^^^]

Об этом Шевырев писал в статье о «Стихотворениях Лермонтова» («Москвитянин», 1841, ч. II, № 4).

[^^^]

Ср. в «Обзрении русской словесности за 1829 год» И. В. Киреевского (первоначально в альманахе «Денница на 1830 год») по поводу подражаний античной поэзии у Дельвига: «Ее (греческой музы. – Ю. С.) нежная краса не вынесла бы холода мрачного Севера, если бы поэт не прикрыл ее нашею народною одеждою; если бы на ее классические формы он не набросил душегрейку новейшего уныния» (Киреевский, т. II, с. 31).

[^^^]

Другой критик – Н. И. Надеждин (время его сотрудничества в «Вестнике Европы» 1828–1830 гг.). Далее – вольная передача некоторых его высказываний. О Пушкине как по преимуществу «легком и приятном стихотворце, мастере на мелочи» говорилось, например, в статье об издании главы седьмой «Евгения Онегина» («Вестник Европы», 1830, № 7), там же и о моде на талант Пушкина. Ср. также: «Его (Пушкина. – Ю. С.) герои – в самых мрачнейших произведениях его фантазии – каковы «Братья разбойники» и «Цыгане» – суть не дьяволы, а бесенята» («Вестник Европы», 1829, № 9, с. 21; статья о «Полтаве»); «Еще при самом рассвете нового государственного бытия, на девственном еще небосклоне поэтического нашего мира возгорелось дивное и великое светило, коего лучезарным сиянием не налюбоваться в сытость и позднешему потомству. Мы разумеем великого нашего Ломоносова, который по всей справедливости может быть назван Петром Великим нашей поэзии» («Вестник Европы», 1830, № 2, с. 140;

«О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии. Отрывок (из диссертации)»; «Все то, что внушало нам омерзение и в чужеземных *лжеромантических* изгребнях – в наших еще омерзительнее, ибо у нас они не имеют даже и прелести небывальщины <...>. Доколе на алтарь чистых дев будут врзвергаться скверные уметы – руками неомовенными?..» (там же, с. 148–149).

[^^^]

23

Третий критик – Ф. В. Булгарин в «Северной пчеле»; четвертый – О. И. Сенковский в «Библиотеке для чтения».

[^^^]

24

Имеется в виду «Опыт краткой истории русской литературы» Н. И. Греча. СПб., 1822. Ср. также краткий отрицательный отзыв на эту книгу в статье «Русская литература в 1841 году» – наст. изд., т. 4, с. 307.

[^^^]

25

Речь идет о двух рецензиях на «Учебную книгу русской словесности» Н. И. Греча, помещенных в кн. 4 (автор П. Н. Кудрявцев) и 5 (А. Д. Галахов) «Отечественных записок» за 1845 г.

[^^^]

«Руководство к познанию истории литературы» В. Т. Плаксына вышло в 1822 г. Ср. презрительные отзывы Белинского о «трудах» Плаксына по истории и теории словесности – наст. изд., т. 1, с. 90 и 516.

[^^^]

Ср. воспоминание Белинского в шестой статье о Пушкине (1844): «Мы сами слышали однажды, как глава классических критиков, почтенный, умный и даровитый Мерзляков, сказал с кафедры: «Пушкин пишет хорошо, но, бога ради, не называйте его сочинений *поэмами!*» (наст. изд., т. 6, с. 308).

[^^^]

Набранные в тексте Никитенко курсивом слова относятся, видимо, к следующему месту из стихотворения И. И. Дмитриева «Подражание Петrarке»:

*О страсть чудесная! чем боле от-
крываю
Угрюмой дикости в местах, где я
бываю,
Тем кажется милей, прелестнее
она.*

(Соч., ч. II, М., 1803, с. 83).

[^^^]

См. примеч. 8 к статье о «Тарантасе» В. А. Соллогуба.

[^^^]

Ср. в «Водопаде» Державина (применительно к Потемкину):

*Се ты, отважнейший из смерт-
ных!
Парящий замыслами ум!*

[^^^]

Продолжения издания не было.

[^^^]

[^^^]